Перестройка глазами московского гуманитария

Дмитрий Фурман

Фурман Дмитрий Ефимович — главный научный сотрудник Института Европы РАН, доктор исторических наук, профессор; в период перестройки — ведущий научный сотрудник Института США и Канады АН СССР.

Мое участие в политической жизни эпохи перестройки было минимальным. Более того, ни с одним из наиболее видных политических персонажей того времени я тогда знаком не был. Со многими, включая самого Михаила Сергеевича, я познакомился уже после. Поэтому мои воспоминания о перестройке — воспоминания рядового и не слишком активного участника событий, представителя московской гуманитарной интеллигенции.

Предперестроечная эпоха

Марксизм-ленинизм умер тихой и незаметной смертью где-то в период правления Брежнева. В эпоху Хрущева и в начале брежневской эпохи я встречался с очень многими настоящими и умными марксистами. Все они, естественно, были настроены оппозиционно.

Это было время, когда интерес к марксизму и оппозиционность практически совпадали. Многократно повторялся один и тот же процесс — кто-то из колоссальной массы людей, которым вдалбливались в голову формулы официальной идеологии, обращался к ее «первоисточникам» и поражался противоречиям между тем, что писали «классики марксизма», с одной стороны, и официальной схоластикой и «реальным социализмом», с другой. Если человек убеждается, что он понял какие-то истины, содержащиеся в сакральных источниках идеологии, от которых власть отступила и которые общество не поняло, у него естественно возникает стремление

раскрыть людям глаза. Официальный марксизм закономерно порождал свой «протестантизм». Но марксизм — еще и идеология исторического оптимизма и действия, нацеленная на изменение мира. Поэтому осознание противоречия официального учения и содержания марксистских текстов неизбежно вело не просто к стремлению «раскрыть людям глаза», но и к стремлению изменить общество, к «перестройке».

Вот две запомнившиеся мне сценки того давно ушедшего времени.

1963-й или 1964-й год. У нас на истфаке МГУ был студент, старше меня и с репутацией большого знатока марксизма. Начальство его боялось, ибо подозревало в подпольной деятельности. Он страдал какой-то болезнью глаз и терял зрение. Он был женат, но у него была и любовница, милая девчушка-искусствовед, видевшая в нем героическую и романтическую фигуру. Иногда они вместе не ходили на лекции, прятались в каком-нибудь уголке истфаковского здания, и она ему читала вслух. Как-то я подошел к ним и услышал, что она читает ему «Государство и революцию» Ленина. Он прерывает ее: «Это место — очень важное, прочтем его еще раз». Эта картинка и сейчас стоит у меня перед глазами.

Вот вторая сценка, относящаяся уже к году 1969-му или даже 1970-му. Я был знаком с одним философом, который был страстный марксист и какое-то время умудрялся делать карьеру (от даже стал преподавать в Академии общественных наук при ЦК КПСС), одновременно тайно участвуя в диссидентском движении (потом он, естественно, от него отошел). Он давал мне и другим на прочтение и распространение самиздат, а мы должны были сами платить за это деньги, кто сколько может, и брать с прочитавших, и передавать ему. Эти деньги потом шли на политзаключенных. Я помню, как он мне передал какое-то отпечатанное на машинке произведение Солженицына, которое я сам не прочел (мне было не очень интересно), но, тем не менее, деньги ему передал. Ко мне он относился не совсем хорошо, ибо я марксистом не был. Я никогда с ним не спорил, и это, очевидно, его еще больше раздражало. Как-то мы случайно встретились, и это прорвалось — он вдруг, ни с того ни с сего, стал даже с какой-то злобой говорить мне, что такие, как я, ничего совершить не способны, ибо XX век — век марксизма, и все великое в нем совершают только марксисты. Я помню, сказал ему тогда: «Или, например, Гитлер».

Конечно, пик этого «перестроечного» активистского настроения и демократических идейных поисков в русле марксизма и русской революционной и социалистической традиции (Чернышевский, народники) приходится на 1968 год, и после подавления Пражской весны оно стало исчезать. К середине 80-х людей вроде тех, о которых я говорил выше, практически не осталось. Кто-то уехал на Запад или в Израиль, кто-то стал нормальными

советскими научными сотрудниками. Что стало с первым из двух персонажей, о которых я вспомнил, я не знаю. Со вторым я встретился в постперестроечную эпоху, он был умеренно преуспевающим редактором одного либерального журнала и, как мне показалось, больше всего боялся, как бы я не стал спрашивать его о его марксизме.

***

С начала 70-х гг. я, работая все время в академических институтах и имея массу знакомых в среде гуманитарной интеллигенции, искренних и умных марксистов больше практически не встречал (я вначале написал просто «не встречал», но потом вспомнил несколько «сомнительных случаев» и добавил слово «практически»). Среди моих знакомых было множество убежденных «западников», были дзен-буддисты, православные, русские националисты фашистского толка, сионисты и т д., и т. п. (Убеждения большинства, конечно, описать невозможно — просто жили люди, без каких либо убеждений.) Но марксистов не было или почти не было. Я понимаю, что мой круг знакомств был ограничен, и марксисты, безусловно, были, но то, что на сотни полторы моих знакомых из гуманитарной интеллигенции этого времени я с трудом могу вспомнить только несколько сомнительных случаев, говорит, что они в это время стали очень редким явлением.

Как это ни странно, я уже в перестроечное время познакомился с одной очень неглупой пожилой женщиной, сотрудницей института, где я работал, которая была искренней и страстной марксисткой и даже называла Маркса и Ленина «классики». Я сначала не мог понять, о ком она говорит, потом решил, что это ирония, а когда убедился, что это не так, был очень поражен.

С практическим исчезновением неофициального, реформаторского марксизма власть освободилась от единственной реально опасной идеологии, способной побудить людей к целенаправленному «революционному» действию. Заполнявшие вакуум идейные течения были во много раз дальше от официальной идеологии, в которую уже практически никто не верил, но несли в себе значительно меньшую непосредственную угрозу. Человек, начитавшийся, как мой университетский приятель, «Государства и революции», должен был что-то делать, призывать к какому-то переустройству, строить какие-то планы изменения советской системы. Человек, начитавшийся буддистских сутр или православных философов, ничего «социально опасного» мог не делать. Ему даже легче было быть конформистом, произнося ничего не значащие для него формулы и участвуя в ничего не значащих для него ритуалах. Это похоже на то, как в эпоху Ренессанса и

Реформации настоящие христиане-протестанты были ярыми врагами папства, но при папском дворе было много людей, вообще в христианского Бога не верящих, но вполне лояльных.

Если не говорить о разного рода религиозных увлечениях, получивших в это время распространение, в 70-е годы было два главных социальных мировоззрения, оба совершенно не марксистские и оба не слишком опасные для власти.

Во-первых, это «западничество». В отличие от марксизма, который был идеологией действия, «перестройки», это западничество было просто убеждением, что «у нас все плохо», а «там все хорошо». Конечно, многие находящиеся на крупных постах «западники» как-то чуть-чуть способствовали либерализации, но никаких проектов преобразования действительности это мировоззрение не порождало. Чаще всего его носители считали, что у нас все настолько плохо, что ничего сделать и нельзя. Единственное реальное радикальное действие, которое вытекало из этого «западнического» убеждения, было — уехать из безнадежной страны. Множество моих знакомых в 70-е — 80-е гг. перебрались на Запад или в Израиль. Многие русские выдавали себя за евреев, искали еврейские корни или женились (и фиктивно, и не фиктивно) на еврейках — только для того, чтобы уехать.

Конечно, было активное диссидентство. Но его активность была активностью одиночек, которые не могут больше терпеть атмосферу умирающего тоталитаризма, но у которых тоже нет никаких серьезных идей, как можно изменить положение, никаких планов переустройства общества. Большинство диссидентов в конце концов переправлялись на Запад, и некоторые получали там немыслимые по советским стандартам деньги и жили так, как у нас едва ли жила высшая номенклатура. То, что диссиденты говорили и писали, по-моему, было не очень интересно. Самиздат, очень активно распространявшийся на рубеже 60-х — 70-х гг., к 80-м «завял» — отчасти из-за того, что диссиденты один за другим переправлялись на Запад, а отчасти просто из-за потери интереса.

Во-вторых, было «славянофильство». В 60-е гг., даже в начале 70-х, движение «назад» от официальной схоластики направлялось к трудам Ленина, затем Маркса (очень популярен был ранний Маркс), затем — Гегеля и (другим ответвлением) к Чернышевскому и народникам. Я помню, как где-то в 1967-1968 гг. прочитал Бердяева и сказал своему товарищу, большому знатоку Ленина, Чернышевского и народников, что это очень интересный автор. Реакция была: «Да, я собираюсь кого-нибудь из них (русских философов-идеалистов) прочитать, да все как-то руки не доходят». В 70-е — начале 80-х все стали читать русских религиозных философов,

а до Чернышевского, наоборот, руки уже не доходили. Увлечение русской идеалистической мыслью могло сочетаться с западничеством, но часто приводило к «патриотизму» несколько фашистского толка, представлявшему Октябрьскую революцию результатом еврейского и масонского антинационального заговора. Такая идеология была отрицанием официальных догм даже более радикальным, чем «западническая», но для власти она тоже была безопасной. Ведь такие патриоты видели в СССР новую Российскую империю, возродившуюся после «еврейского засилья» 20-х гг., а в либеральных и диссидентских попытках ослабить власть — продолжение еврейских и масонских происков. В моей среде представителей этого направления было не так много. Западничество доминировало, и «патриоты» ощущали себя затравленными. Но западники их страшно боялись, ибо считали, что власть их поддерживает и что они имеют глубокие народные корни.

Таким образом, в интеллигентской среде доминировали идеологические течения и настроения, полностью отрицавшие догмы официальной идеологии, но не предполагавшие никакой социальной активности, никакой революционной или реформаторской деятельности. За всю эпоху с начала 70-х и до прихода Горбачева я не помню ни одного разговора с друзьями, в котором как-то обсуждались бы планы переустройства общества, хотя многие разговоры были предельно откровенными и среди моих знакомых были некоторые диссиденты и люди, связанные с диссидентскими кругами, потом переправившиеся на Запад и там довольно активные. Но и там они не раскрыли никаких тайно выношенных ими здесь планов — их просто не было.

Я пишу все это для того, чтобы провести одну мысль — что Горбачев явился не ко времени. Если бы исторические карты легли иначе и горбачевская перестройка, идеология которой вначале была идеологией марксистко-ленинской реформации (сильно запоздавшим советским вариантом Пражской весны), пришла бы раньше, Горбачев с его «больше социализма» и «как учил Ленин» не оказался бы в вакууме. На рубеже 60-х и 70-х было множество людей, которые могли бы стать глубоко преданными ему и его делу, бескорыстными (или умеренно корыстными) солдатами и офицерами его «армии». Эволюционная демократизация могла совершиться в СССР только путем марксистской реформации, через «назад к Ленину», «назад к Марксу», как в Чехословакии. Но для такой реформации нужен какой-то минимум людей, которые могли воспринимать эти идеи серьезно, не как прикрытие, не как форму, а буквально. В 60-е гг. таких людей было много. В 80-е они исчезли.

***

Я должен сказать и о своих собственных взглядах предперестроечного времени.

Честно вспомнить, что ты думал 20 лет назад, очень сложно. Человеческая память работает так, что человек забывает то, что не соответствует его теперешнему образу прошлых событий и самого себя, и подставляет на место этого забытого то, что соответствует. Как народы создают лестные им версии своей истории, так индивиды создают, и искренне сами в них верят, лестные для себя версии своих воспоминаний. Социологи знают, что если сейчас опросить людей, как они голосовали 10 или 5 лет назад, полученные цифры будут резко расходиться с реальными цифрами голосования тех лет и соответствовать теперешним предпочтениям. При этом люди не врут — они искренне забыли прошлое и подставили на место реального прошлого воображенное. Сейчас не найдешь человека, который бы стал вспоминать, как он восхищался Ельциным, а через какое-то время будет очень трудно найти человека, который помнил бы, как он восхищался Путиным. Я буду стараться вспоминать точно.

Мои взгляды представляли собой вариант того пассивного западничества, о котором я говорил, с некоторыми индивидуальными нюансами, порожденными профессией (историей религии) и чисто личными особенностями. Когда я был еще студентом, меня потрясло сходство борьбы догматических партий на вселенских соборах церкви, которые я изучал для себя, и борьбы на съездах партии в эпоху Ленина, которую мы изучали по курсу истории КПСС. Я понял для себя, что марксизм-ленинизм — это такая религия. Я думал — много было всяких религий, они переживали расцвет, потом умирали. В СССР в эпоху, в которую я живу, господствует религия марксизма-ленинизма, которая сейчас умирает. Конечно, это — не «истинная вера». Но истинной веры вообще быть не может. Я не ненавидел советскую власть и не ненавидел марксизм-ленинизм, хотя считал, что моя профессиональная обязанность — искать реальные механизмы развития общества и, следовательно, постоянно вступать в противоречие с официальными догмами, что не было особо опасно, ибо то, чем я занимался, было достаточно «эзотерично».

В 70-е — начале 80-х гг. я был глубоко убежден, что советская власть обречена, ибо умерла или умирает на глазах та идеология, которая была ее «душой». Поэтому я не ждал от власти ничего слишком плохого — свойственные многим в моей среде страхи, что снова начнут «закручивать гайки», для меня характерны не были, ибо я воспринимал власть как бессильного, впадающего в маразм старика. Эволюцию режима я определял как «коррупцию, переходящую в либерализм». Я был уверен, что в конечном счете дол-

жен установиться строй западного образца, который представлялся (и представляется) мне не идеалом, а просто определенным этапом человеческого развития. Но в то, что он может установиться при моей жизни, я не верил, это казалось мне очень отдаленной перспективой. Между советской властью и демократией, как мне казалось, должен быть период радикальной смены идеологических знаков при сохранении основных контуров советского строя. Я его определял как относительно недолгий период «вялого фашизма». «Вялого» — потому что в целом эпоха сильных идеологий кончилась и будущий фашизм может быть только «вымученным» и несерьезным. Одно время мне казалось, что официальным идеологом этого строя может стать Солженицын. Я развлекался тем, что придумывал разные смешные, как мне казалось, формулы из газет постсоветского будущего, в которых сочеталась эта смена знаков и сохранение содержания — «староста сельскохозяйственной общины имени святого Сергия Радонежского рассказал на совещании о новом сорте кукурузы, который землепашцы любовно назвали "белогвардейкой" (или "власовкой")». Падение советской власти и приход «фашизма», конечно, должны сопровождаться неким социальным катаклизмом, которого я очень боялся, но надеялся, что до него не доживу. В какой форме произойдет это падение, я не понимал. Одно время я думал, что, может быть, произойдет военный переворот. Схема эта в целом была не такая уж неверная и частично даже реализовалась. Но в ней не было Горбачева.

Я был уверен, что механизм социальной мобильности, особенно в политической сфере, в государстве, основанном на идеологии, которая уже умерла, действует так, что «на самом верху» могут оказаться только дураки или негодяи, которые в результате бесконечного произнесения глупостей в конечном счете все равно превращаются в дураков. Я помню, как в институте, где я работал, обсуждали вопрос, сможет ли наш директор стать министром иностранных дел. Я сказал тогда, что директором он еще как-то может быть, но на министра он не потянет, ибо министр должен быть значительно глупее. Фотографии членов Политбюро казались мне полным подтверждением этой точки зрения.

Сейчас я понимаю, что это мое тогдашнее очень глубокое убеждение, которому полностью противоречит появление Горбачева, было неверно. Но и сейчас, когда я думаю об успешной партийной карьере Горбачева, у меня возникает ощущение какой-то загадки. И я думаю, что его приход к власти был реализацией одного из наименее вероятных вариантов истории, чем-то вроде выигрыша в лотерею — бывает и такое, но шансов мало и рассчитывать на это глупо.

Перестройка

О Горбачеве до его избрания генсеком я, конечно, слышал, но воспринимал его как одну из многих безликих фигур наверху. Помню, как удивился, когда один знакомый Арбатова сказал мне, что академик Арбатов старается установить хорошие отношения с Горбачевым (он сказал: «Обрабатывает Горбачева»). Я очень удивился и спросил, почему именно его. Он ответил: «Он очень перспективный». Когда Горбачев пришел к власти и стало ясно, что это человек, реально и сознательно стремящийся вести страну к свободе, я был потрясен. Горбачев совершенно не соответствовал моей схеме, и я воспринял его как дарованную судьбой возможность избегнуть разворачивания этой схемы и начать планомерное, а не катастрофическое, через переворот и победу «вялого фашизма», движение к демократии.

Я не думал, конечно, что Горбачев может привести нас к «буржуазной демократии» — это казалось мне очень далекой перспективой, проблемой XXI века, который тогда еще не был таким близким. Реальной перспективой мне представлялась именно «перестройка», «социализм с человеческим лицом», «марксистско-ленинская реформация». Я думал, что возможно преобразование КПСС в партию, естественно, социалистическую, но парламентскую и надолго сохраняющую роль, аналогичную роли, которую играл Индийский национальный конгресс, то есть партии, регулярно побеждающей на выборах разрозненную, не способную к объединению оппозицию разных радикалов — коммунистических ортодоксов, радикальных сторонников капитализма и разных националистов и сепаратистов. Лет 25–30 господства такой партии — и тогда можно начать думать о дальнейшем. Только при Горбачеве я стал выезжать за границу. Меня послали в Чикаго на какое-то американское сборище, обсуждавшее перестройку (что это было за сборище, я и тогда-то, наверное, толком не знал, а сейчас совсем не помню). Я выступал, и какой-то американец из зала спросил меня, верю ли я, что может быть демократизация при сохранении власти КПСС. Я ответил ему, что Англия — страна не менее свободная, чем США, но она — монархия, и даже с палатой лордов и государственной церковью. И если можно в монархическую средневековую форму внести новое содержание, почему нельзя в форму советской власти и КПСС?

Я был в восторге от «нового мышления». Мне казалось, что на глазах происходит великий процесс — к разным идеологиям и религиям, разным духовным традициям, которые принимают общие либеральные ценности, присоединяется еще одна великая идеология и традиция — коммунистическая. Мне казалось, что роль Горбачева в некотором роде близка к роли Иоанна XXIII и Иоанна Павла II. Католицизм смог переосмыслить свое

прошлое, инквизиции и крестовые походы, но при этом не отказаться от него и внести в современный демократический мир свою «ноту». Так и мы, думал я, переосмысливаем свое прошлое, но именно переосмысливаем, а не просто отрекаемся от него, и вносим в современный демократический «хор» свойственную коммунистической идеологии устремленность к «светлому будущему», пафос некоего общечеловеческого строительства. То, чего, как мне казалось, не хватает современному «свободному миру».

У меня менялось мироощущение. Я никогда не был «патриотом». Я считал, что страну не выбирают и, раз ты родился в этой стране, надо стараться сделать ее лучше; стремление уехать на Запад мне никогда свойственно не было. Но своей страной я никогда не гордился, хотя и не считал ее, как многие мои знакомые, какой-то уж совсем ужасной и безнадежной. Наоборот, я не любил общаться с иностранцами, ибо мне всегда было немного стыдно, что я — русский. И только при Горбачеве я стал переживать не известное мне до этого чувство гордости за свою страну и за ее лидера. Я помню, как говорил дома, смотря телевизор: «Господи, что же это происходит! Наш президент встречается с американским, и ясно, что наш — умнее и лучше». Это удивительно приятное и доселе не знакомое мне чувство после 1991 г. снова полностью исчезло, но я благодарен судьбе и Горбачеву, что все-таки не прожил жизнь, так никогда его и не испытав.

При этом я мучился двумя проблемами. Во-первых, мне, конечно, хотелось участвовать в процессе и помогать Горбачеву. Но в мои личные планы переход к современной советской проблематике и тем более политическая деятельность совершенно не входили. У меня был определенный жизненный и научный план, который я не хотел ломать. Потихоньку я втягивался (и меня втягивали) в современную «перестроечную» проблематику, но я сопротивлялся и окончательно порвал с прошлым и отказался от своих прежних планов уже тогда, когда перестройка закончилась. Вторая проблема — значительно сложнее. Я всегда считал, что у любого человека, честно занимающегося гуманитарными науками, в стране, в которой есть господствующая догматическая идеология, эта идеология становится естественным и главным врагом. Я даже считал, что не должен издавать работу, которая не противоречит какой-то марксистской догме. Иногда в своих писаниях я ссылался на Маркса и Энгельса — смотрел по указателю, что они писали на данную тему, и всегда находил что-то подходящее и «антимарксистское». Но на Ленина никогда не ссылался — считал, что это уже по ту сторону допустимого для меня компромисса. Написать же что-нибудь вроде «Ленин был великий человек, и у Октябрьской революции были великие идеалы» мне казалось просто постыдным. Но теперь возникала совершенно другая ситуация. Идеология Горбачева и единс-

твенная идеология, которая могла быть идеологией перестройки, — это идеология «недогматического» марксизма, «социалистических идеалов», идеалов Великой Октябрьской революции (цели которой затем были «извращены») и примата «общечеловеческих ценностей», но при сохранении марксистского и социалистического подхода к ним. Если я хотел помогать перестройке, мне нужно было начать говорить и писать совершенно иначе, чем я делал это раньше. Для меня это было очень трудно. Тем не менее я издал несколько статей в популярных тогда сборниках издательства «Прогресс» («Иного не дано», «Осмыслить культ Сталина», «На пути к свободе совести»), где я резко изменил акценты: я не говорил, что марксистско-ленинское учение — истинное, но писал, что марксизм — великая традиция русской и мировой культуры, что к марксизму надо относиться очень серьезно и т.д.

Я начал говорить что-то уважительное и хорошее о марксизме и революционной традиции именно тогда, когда все это делать перестали. Перестройка быстро перерастала в революцию.

***

Меня до сих пор, когда я вспоминаю это время, не покидает чувство ужаса и, честно говоря, отвращения. Один мой знакомый сказал мне тогда: «Наконец пришло время нашего поколения». И действительно это так. Я не знаю, почему именно в России молодежь не участвовала активно в событиях того времени (во всех других странах — не только центральноевропейских, но и в других республиках СССР — роль молодежи была во много раз больше). Наша революция была революцией 40–50-летних. То есть это была революция людей, до этого тихо сидевших по своим НИИ и кухням, в подавляющем большинстве — членов партии. Теперь у этих людей исчез страх и они судорожно компенсировали свое предшествующее бездействие, вранье и приспособленчество и выплескивали наружу все, что накопилось у них за годы «застоя». А накопилось, прежде всего, то самое доселе пассивное западничество, которое вдруг стало активным и превратилось в страстный антикоммунизм, и то, что наши «патриоты», постепенно превращавшиеся в «красно-коричневых», окрестили «русофобией».

Я считаю, что «русофобия», как и «русофилия» («славянофильство»), — явления совершенно нормальные. В самосознании народа, как и в самосознании индивида, должны присутствовать и любовь к себе, и нелюбовь. Человек, который все время восторгается собой, так же ненормален, как и тот, кто постоянно питает отвращение к себе. Но за годы «застоя» накапливалась именно «русофобия», и ее накопилось так много, что она приобрела разрушительные формы. Радикализм и безответственность

многих активистов демократического движения были прямо связаны с тем, что судьба нашей страны их не очень-то волновала. Именно в тот период, когда открылась возможность демократических преобразований, множество людей, включая и ряд моих знакомых, произведя некоторый демократический шум, устремились на Запад и осели там. Ясно, что их планы осесть на Западе и их демократический радикализм были взаимосвязаны, — человек предполагал, что последствия его радикализма он сам испытывать не будет.

Началось то, что я называл тогда «оргией». Тихие «научные сотрудники» или люди, более или менее успешно делавшие до этого партийные карьеры, на моих глазах становились страшными радикалами. Люди стали зачитываться статьями, в которых доказывалось, что марксизм — источник всех бед России, что социал-демократия — главная опасность и она погубила скандинавские страны. Человек мог еще в 1989 году писать об идеалах социализма и о том, как Сталин исказил Ленина, но уже в 1990 году, когда он убеждался, что ничего ему за это не будет, он писал о том, что именно Октябрьская революция и Ленин повинны во всех наших бедах и что социализм и советская власть реформированию не поддаются.

Все, что как-то могло расшатать «советскую власть», приветствовалось, причем людей не волновало, что их требования полностью противоречат друг другу. Так, все поддерживали тогда армян, боровшихся за то, чтобы отнять у Азербайджана и присоединить к Армении Карабах. Я помню, как на популярном тогда клубе «Московская трибуна» зашикали какого-то бедного азербайджанца, доказывавшего, что лично он очень осуждает сумгаитский погром и что в Азербайджане тоже есть демократы. Никто ему не поверил, и от него стали требовать, чтобы он тут же признал, что Карабах должен принадлежать Армении. Но передача территории от одной республики другой требовала очень сильного Центра. Между тем одновременно с этим все требовали расширения прав республик, ослабления Центра, а потом уже и вообще роспуска СССР. То, что эти требования несовместимы, никто не думал.

Я до сих пор не могу до конца понять, как люди, в общем, отнюдь не храбрые, больше всего до этого боявшиеся прогневить начальство, ничего не боялись, когда речь шла о судьбе страны. Не боялись, например, что после развала СССР наше пространство превратится в территорию, где все воюют друг с другом, подобную территории бывшей Югославии, но с ядерным оружием. Американцы явно очень боялись, но наши — нет. Я не могу сейчас все вспоминать, не могу называть примеры немыслимой глупости и безответственности уважаемых людей, хотя у меня в памяти их очень много. Меня перспектива развала СССР страшно пугала, и я даже

написал в популярный тогда журнал «XX век и мир» статью под названием «Осторожней с империями», где говорил, что распад империй — процесс закономерный, но очень опасный — при англичанах в Африке не могло быть президентов-людоедов, а когда они ушли, такие появились.

Что происходило «наверху», в окружении Горбачева, я не знал, но иногда узнавал нечто, что повергало меня в смятение. Приведу, не называя фамилий, два эпизода, меня совершенно обескуживших. Я был на обсуждении каких-то очередных планов преобразования СССР в Институте стран Азии. Был представлен план, который сочинили два молодых научных сотрудника. Это был совершенно детский план, который мог придумать десятиклассник: везде в республиках провести референдумы о самоопределении, а если какая-то часть республики выскажется против, то там еще провести референдум и пусть она отделяется от этой республики. Я могу сейчас что-то путать, но приблизительно так. Если представить себе, что такой план вдруг каким-то образом стал бы осуществляться, передрались бы друг с другом все народы, которым до этого и в голову не приходило ссориться, и все пространство СССР было бы залито кровью. План предполагалось послать в «инстанции». Я сказал, что план — детский и посылать его не нужно, просто чтобы не срамиться. Но его, конечно, послали. Через некоторое время я в ужасе узнал, что авторы этого плана встречались с ближайшим соратником Горбачева, совершенно серьезно обсуждали с ним этот план и были им обласканы. Я понял, что сознание государственных деятелей, олицетворяющих перестройку, может не отличаться от сознания ошалевших от свободы младших научных сотрудников.

Второй пример — я разговаривал с одним относительно важным тогда человеком, депутатом и членом ЦК. Я говорил, что никто не знает, что происходит в республиках СССР, и надо срочно создавать какой-то центр, который бы изучал республики. Этот человек воспринял, естественно, такой разговор как мое желание встать во главе этого центра. Ко мне он относился очень хорошо и сказал: если вы хотите заниматься автономиями в России, мы сделаем соответствующую структуру и дадим людей и деньги, но республики — другое дело, ибо (тут я цитирую дословно) «процесс демократизации будет идти в отдельных республиках». Фраза на первый взгляд была совершенно бессмысленная, но скрытый смысл в ней все же был — она означала, что для этого человека (а это было приблизительно в декабре 1990 г.) с СССР было уже покончено.

Горбачев быстро утратил популярность и стал главной мишенью всяких нападок и насмешек. В нападках на Горбачева, как мне представлялось, проявлялась психология рабов. Когда это было опасно, все сидели и молчали. Но именно Горбачев сделал возможным нападки на власть, и

было ясно, что от него для нападающих угрозы нет. Тогда все тут же набросились на того, кто дал им свободу. Как собаки, которые сидели в клетке и скулили, а когда их выпустили, набросились именно на того, кто клетку открыл. Я считал, что за внешним, явным демократическим радикализмом здесь скрывается тайное желание уйти от свободы, подсознательное стремление вернуться к авторитаризму.

Людей раздражало то, что Горбачев уговаривает и обсуждает, что он ищет «консенсус», что он может показать, что сам не знает, куда идти дальше. Раздражало то, что он — политик демократического толка. Ельцин же, внушавший мне отвращение и ужас, был «тифлоновым». Он нес, с моей точки зрения, что-то несусветное. Политические взгляды он менял с головокружительной скоростью, и было ощущение, что ради власти он может стать кем угодно, хоть мусульманином. Я воспринимал его как интеллектуально и морально патологическую фигуру. Но он был радикален и говорил тоном решительного человека, который «консенсусов» не ищет и готов все сокрушить и разломать.

То, что демократическая интеллигенция могла выбрать своим кумиром такого человека, мне казалось просто позорным. Ельцин стал вождем революции и основателем нового российского государства, нашим Джорджем Вашингтоном. Я говорил — какая страна, такой и Джордж Вашингтон.

***

Я понимал, что Горбачев утрачивает контроль над ситуацией, но надеялся, что, может быть, как-то все обойдется. Все больше мне казалось, что уже пора остановиться на определенном уровне свободы и не идти дальше, а адаптироваться к этому уровню, «переваривать его».

Я и сейчас думаю, что все можно было бы изменить и сохранить КПСС (с иным названием) и СССР (конечно, не навсегда, навсегда вообще ничего сохранить нельзя, но на достаточно большое время). И нужно было только во время «цыкнуть». Я все ждал, когда это произойдет. Но Горбачев этого не хотел и не сделал.

Когда появился ГКЧП, мои чувства были совершенно раздвоены. Если бы ГКЧП был детищем самого Горбачева, я бы просто его приветствовал. Я, кстати, был согласен с гэкачепистами, что тот договор, подписание которого они стремились сорвать и сорвали, означал конец СССР. Но во главе ГКЧП встали люди малопривлекательные и «невразумительные». Что они хотели, было непонятно. Было ясно только то, что проливать кровь они не хотели (в отличие от Ельцина, который потом, не задумываясь, проливал кровь и в Москве, и в Чечне). После знаменитой пресс-конференции ГКЧП стало очевидно, что ничего из него не выйдет. Я помню, как моя мать (мои

жена и дети тогда уехали в поездку на теплоходе по Волге) спрашивает меня: «Что же теперь будет?» Я ответил: «Ничего не будет». У меня даже было впечатление, что организаторы «путча» устроили его для «очистки совести», чтобы сказать: «Я сопротивлялся».

Великое и смешное всегда рядом. По-моему, смешной и иллюстрирующий дух того времени эпизод — как я *не* участвовал в «героической обороне Белого дома». Я не сочувствовал защитникам Белого дома и, кроме того, был практически уверен, что никакого штурма не будет. Но среди защитников, которые там собирались, было много моих знакомых. И я думал, что все-таки надо бы пойти и провести там ночь, чтобы потом стыдно не было — вдруг все-таки штурм будет. Больше всего я боялся одного — у меня был сильный остеохондроз, и я был уверен, что после ночи на открытом воздухе меня скрутит так, что я встать не смогу. Я договорился идти в ночевку со своим более молодым, чем я (тогда просто молодым), товарищем, который, как и я, был без жены — она тоже куда-то уехала. Я вообще фамилий не называю, но это было давно, у него теперь другая жена, и я могу его назвать. Это — журналист Алексей Панкин, сын тоже известного журналиста, который потом стал последним министром иностранных дел СССР. Я сижу дома, жду его звонка и думаю об остеохондрозе. Наконец раздается звонок: «Приезжайте, я накупил вина, у меня — девочки, все вместе и пойдем». Тут я почувствовал, что у меня появился моральный предлог отказаться — я сказал, что для девочек я уже стар, и остался дома, а он там гулял всю ночь. На следующий день приехала из поездки по Волге моя жена с детьми и громадным официальным портретом Горбачева. Их известие о ГКЧП застало на теплоходе, во время очередной остановки они пошли в книжный магазин и купили этот портрет как знак своей политической принадлежности.

После августа началась агония. На съезде народных депутатов РСФСР над Горбачевым открыто издевались. (Бог их потом за это наказал.) Ельцин, который раньше говорил «Берите столько суверенитета, сколько можете проглотить», теперь, решив, что он может встать на место Горбачева, стал угрожать республикам войной, если они выйдут из СССР, но потом передумал, и в декабре с СССР было покончено. Мужество, проявленное Горбачевым при всех этих событиях, на меня произвело очень сильное впечатление, но в народе никакого сочувствия к нему не было.

Постперестройка

После августа вся моя жизнь переменилась. Я пришел в ужас от победы «демократов» и со страху решил отбросить все и начать писать в газеты

и куда угодно, что мы идем к катастрофе, что победа демократов означает конец демократии, а распад империи означает войны.

Все оказалось лучше, чем я предполагал. Войны всех против всех не произошло. Самого страшного — конфликта России с Казахстаном и с Украиной — удалось избежать. Я был уверен, что после 1991 г. очень быстро установится авторитарный строй с «фашизоидной» идеологией. Строй наш, конечно, демократическим не назовешь, но в 1991 году я не думал, что свобода слова продержится (пусть с ограничениями) до 2005 года и что даже через 14 лет в стране сохранятся некоторые демократические институты.

Я познакомился затем с Горбачевым и даже один год проработал у него в Фонде. Горбачев мне нравится и при близком рассмотрении. У меня вызывают восхищение те мужество и легкость, с которыми он пережил свое падение. Мне нравятся упорные, хотя, по моему, совершенно безнадежные и наивные, попытки создать у нас социал-демократию.

Не могу не рассказать еще одну удивительную историю, раскрывшую его с неожиданной для меня и не совсем понятной стороны. Был 1996-й год, и он выставил свою кандидатуру в президенты. Для чего он это делал — не понимаю, как и многих его действий. Я, естественно, видел полную безнадежность этой затеи, но когда меня пригласили выступить во время его посещения «Московской трибуны», клуба, сохраняющего диссидентские и «околодиссидентские» демократические традиции, я из чувства лояльности к нему согласился. (Из этого же чувства лояльности я голосовал за него, боясь, что он уж совсем ничего не получит.) Я сказал тогда, что всеми теми элементами демократии, которые у нас есть, мы обязаны ему. Я говорил — вот все вы очень уважаете покойного Сахарова, и я, конечно, тоже уважаю. Но представим себе на минуту, что такого человека вообще не было. Что меняется? По-моему, ничего не меняется. А представим себе, что не было Горбачева — меняется все, и в худшую сторону. Врать мне не хотелось, и я сказал — я не знаю, сколько голосов он получит, но я знаю, что это число будет показателем того, насколько наш народ готов к демократии. Я выступил довольно удачно, но ничего особенного я не сказал. На Горбачева же это произвело неизгладимое впечатление. Он потом много раз и устно, и в интервью в газете говорил, что вот, Фурман сказал, что моя роль — больше, чем роль Сахарова, но в том, что наш народ не готов к демократии, я с ним категорически не согласен. Два раза он говорил об этом при мне. Я до сих пор не понимаю, неужели сказать, что его роль в истории больше, чем роль Сахарова, для него такой уж большой комплимент. Как же он сам оценивает свою роль?

Представление о том, что «история со временем разберется», конечно, совершенно не верно. «До конца» понять значение какого-то события мы

не можем принципиально, и споры о значении перестройки и Горбачева будут идти столько же, сколько будет существовать историческая наука. Но я пишу о том, как я сам понимаю его роль и роль перестройки.

Я считаю, что роль Горбачева в нашей истории грандиозна, хотя его план не удался и он потерпел поражение. Я убежден, что появление Горбачева и его перестройки было отнюдь не самым вероятным, может быть, даже одним из наименее вероятных вариантов развития событий в СССР 80-х гг. теперь уже прошлого века.

Победа перестройки, реализация горбачевского проекта постепенного и планомерного движения к демократии и рынку при сохранении государства и символической и духовной преемственности была, мне кажется, также маловероятной, но все же возможной. На этом пути были бы свои проблемы и трудности. Но многих бед не было бы. Не было бы войны в Чечне. Сохранялось бы мощное государство, которое могло бы активно участвовать в перестройке мира, могло стать действительным «партнером» Запада в построении мирового порядка, в котором могло бы и не быть Усамы бен Ладана. Не возникло бы чудовищных режимов Туркменбаши или Лукашенко. Не было бы социального расслоения таких размеров. Я не думаю, что мы могли бы на этом пути к 2005 году прийти к настоящей демократии, с возможностью демократической ротации у власти разных политических сил. Но есть громадная разница между медленным движением вперед, к демократии, и очередным провалом и движением назад. Провал всегда — деморализация общества, у которого «опускаются руки».

Разумеется, в том, что Горбачев потерпел поражение, виноват и он сам — он сам спешил, поддавался давлению радикальной интеллигенции, с которой он, по-моему, считался значительно больше, чем это было нужно, и был демократическим политиком в совершенно не готовой к демократии стране. Он мог бы победить, если бы в нем было больше от Андропова. Он хотел «консенсуса» там, где его быть не могло, и уговаривал там, где надо было припугнуть. По-моему, он, как это ни странно для человека, прошедшего по всем ступеням громадной иерархии, плохо разбирался в людях и доверял людям случайным и часто неумным. Но все эти и многие другие его «недостатки» и «ошибки» — бесконечно малы по сравнению с чудовищной сложностью задачи, которую он добровольно взял на себя.

Реализация его проекта была бы лучшим вариантом развития, чем тот, который осуществился. Но если бы такой попытки вообще не было, если бы, например, падение советской власти (все равно неминуемое) произошло бы в форме свержения группой пьяных военных-«патриотов» какого-нибудь следующего Черненко, было бы еще во много раз хуже.

Но я думаю, что значение перестройки и Горбачева — значительно больше, чем их роль в историческом развитии нашей страны конца XX–начала XXI вв.

Что такое великий политик — непонятно. Наше сознание так устроено, что великий политик для нас — обязательно великий злодей, не останавливающийся ни перед чем ради того, чтобы прийти к власти, укрепить ее и расширить: Иван Грозный, Петр Первый, Сталин. Были, конечно, в нашей истории политики, искренне стремившиеся к добру для своей страны и народа. Но я не знаю исторического деятеля, для которого это стремление к благу народа не совпадало бы со стремлением к власти и к расширению этой власти. Иногда Горбачева сравнивают с другим российским правителем-реформатором, Александром II. Но великая реформа Александра II — освобождение крестьян — никак его личную власть не затрагивала, а конституционные планы конца его правления возникли у него после шести покушений. Горбачев был единственный в русской истории политик, который, имея в своих руках полную власть, сознательно, во имя идейных и моральных ценностей шел на ее ограничение и на риск ее потерять. У него были иные критерии успеха, он играл по другим и даже оставшимся непонятными для большинства правилам, играл в политике по правилам человеческой морали. И оценивать его успех надо по этим правилам.

По правилам политики он должен был остановить, пока не поздно, разбушевавшуюся стихию, сам организовать некий аналог ГКЧП, и не в августе 1991 г., а значительно раньше. И не было бы поражения. Но по его правилам он этого сделать не мог. По его правилам это было бы поражением. По этим правилам его поражение было победой.

Только тогда, когда наши политики не будут цепляться за власть любыми доступными путями (как это делали и делают практически все пришедшие на смену Горбачеву руководители стран СНГ), постсоветское пространство начнет превращаться в зону нормальных, демократических государств. Это будет не скоро, но Горбачев хотя бы показал, что это в принципе возможно.

Поэтому для меня Горбачев — великий политик, может быть, самый великий в русской истории. В некотором роде он — оправдание российской и советской истории. Раз он мог подняться до самого верха по советской партийной иерархической лестнице (как — я все равно не понимаю), значит, не все в этой иерархии и вообще в советской системе было так беспросветно, как казалось. Раз он мог возникнуть в русской истории, на почве русской политической культуры, значит, не все так плохо в этой культуре. И раз такой государственный деятель был во главе нашего государства, значит, подобный ему возможен и в будущем.